

Константин
ВОРОБЬЕВ

*Вот пришел
великан*



Константин Воробьев

Друг мой Момич

«ЭКСМО»

1965

Воробьев К. Д.

Друг мой Момич / К. Д. Воробьев — «Эксмо», 1965

К.Д. Воробьева называют «русским Хемингуэем», и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. А он продолжает удивлять читателя искренностью и пронзительностью повествования, убежденностью авторской позиции, о чем бы ни писал: о войне, о любви, о трагедии русской деревни, пережившей коллективизацию, об утрате самой необходимости быть хозяином на родной земле.

© Воробьев К. Д., 1965

© Эксмо, 1965

Содержание

1	5
2	16
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Константин Дмитриевич Воробьев

Друг мой Момич

1

Узорно-грубо и цепко переплелись наши жизненные пути-дороги с Момичем. Сам он – уже давно – сказал, что они «перекрутились насмерть», и пришло время не скрывать мне этого перед людьми.

...Мимо нашего «сада» – три сливины, одна неродящая яблоня и две ракиты – к реке сбегает из села скотный проулок. Он взрыт глубокой извилистой бороздой иссохшего весеннего ручья, и на солнышке борозда слепяще сверкает промытым песком, осколками радужных стекляшек, гольщиками. Я сижу на теплой раките, обсыпанной желтыми сережками и полусонными пчелами. Мне нужно срезать черенок толщиной в палец и длиной в пять. По черенку надо слегка потюкать ручкой ножа. Тогда кора снимется целиком и получится дудка-пужатка. Я режу ветку и давно слышу звонкий, протяжно-подголосный зов:

– Санька-а! Санька-а, чтоб тебе почечуй вточился-а!

Это кличет меня тетка Егориха. Я унес из хаты ножик, а ей нужно чистить картошки на похлебку. Как только стихает теткин песельный голос, сразу раздается другой – резкий, торопливо-крякающий:

– Дяк-дяк-дяк!

Это дразнит тетку дядя Иван, Царь по-уличному. Он стоит на крыльце хаты, обратив к тетке оголенный зад и придерживая портки обеими руками. Царь у нас шалопутный, тронутый, и оттого мы, может, самые что ни на есть бедные в селе – работать-то некому и не на чем. Тетка Егориха не доводится мне родней, а Царь доводится – он брат моей помершей матери. Отца у меня тоже нету – сгиб в гражданскую.

– Санька-а!

– Дяк-дяк-дяк!

Я не откликаюсь и режу ветку – будет дудка-пужатка как ни у кого. По проулку к реке большой-большой мужик ведет в поводу жеребца. Потом, не скоро, я увижу еще таких лошадей в Ленинграде – литых из бронзы, в памятниках. Жеребец черный, как сажа, и сам мужик тоже черный – борода, непокрытая голова, глаза. Белые у него только рубаха и зубы. Это сосед наш Мотякин Максим Евграфович – Момич по-уличному. Напротив ракиты, где я сижу, он сдерживает жеребца и говорит мне всего лишь одно слово:

– Кшше!

Так гоняют чужих кур с огорода, и я мигом съезжаю по стволу ракиты и бегу к хате.

Это незначительное происшествие врезалось в мою память необычно ярким видением, и с него мы оба ведем начало нашего «перекрута», – мне тогда было десять, а Момичу пятьдесят. Тогда мы как бы одновременно, но на разных телегах, въехали с ним на широкий древний шлях, обсаженный живыми вежами наших встреч и столкновений. Момич громыхал по этому шляху то впереди меня, то сбоку, то сзади, и я никак не мог от него отбиться, вырваться вперед или отстать...

То лето было для меня самым большим и длинным во всем детстве, – я многое тогда подглядел и подслушал.

Вот Момич пашет наш огород. Жеребца держит под уздцы Настя – дочь Момича, а сам он одной рукой натягивает ременные вожжи, а второй ведет плуг. Мы с теткой ходим по синей борозде и сажаем картохи. Жеребец, завидя за версту проезжающую подводку, ярится и встает на дыбки. Настя отбегает в сторону и стыдливо отворачивает лицо. Момич осажи-

вает жеребца, заходит к нему в голову и кладет ладонь на малиновые жеребячьи ноздри. Тетка роняет лукошко и аж поднимается на цыпочки – ждет несчастья. Дядя Иван высовывается из-за угла сарая и злорадно кричит: «Дяк-дяк-дяк!» – но жеребец мурлыкает, как кот, и затихает, а Момич коротко взглядывает на тетку, и она делается прежней...

Вот в теплых и мягких сумерках вечера за три дня до Пасхи Момич приносит нам полмешка вальцовки и завернутый в холстину свиной окорок. Ношу он кладет на крыльцо и молча идет со двора. Тетка прищемляет дверь хаты щеколдой, чтоб не вылез дядя Иван, и мы с нею тащим мешок в сени – там стоит сундук, но Царь выскакивает через окно, догоняет Момича и под «дяк-дяк» бодает его головой в спину. Момич негромко хохочет и не оглядывается, и от этого его смеха в темноте мне становится немного страшно... Мы спим с теткой в сенцах. Нам обоим долго не засыпается – я прислушиваюсь к звукам с улицы, а она не знаю к чему. Возле Момичевых ворот, на бревнах, гомонят девки. К ним должны прийти ребята с того конца. Перед глазами у меня плавают голубые шары – я изо всех сил таращусь в темноту, чтоб не заснуть. Радостно, как канун наступающего праздника, вливается в меня отдаленный рип гармошки:

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, пиль-пиль!

Я сползаю с сундука, а тетка шуршит в своем углу соломой и счастливым голосом тихонько ругается:

– Ну куда ты, окаянный!

Смешная она у меня, тетка Егориха! Сама небось тоже сейчас подхватится, а в сенцы вернется, когда я буду уже спать. Я не знаю, где она тогда бывает, только нам с нею нравится все одинаковое – звезды, гармошка, карагоды, наступающие праздники, запах кадила в церкви, богородицына трава на полу хаты, и чтобы на дворе всегда было лето. Тетка, наверно, уже старая, но лучше и красивее ее других людей на селе нету!

Я крепко люблю ее, и она меня тоже...

Момичевы ворота высокие, прочные и гулкие, как пустой сундук, на котором я сплю. Возле них, у плетня, лежит штабель толстых бревен. По вечерам тут всегда пахнет калеными подсолнухами, земляничным мылом, конфетами и еще чем-то непонятным и тревожным – девками, наверно. Они крепко и чинно сидят на бревнах, и к каждой на колени примостился кто-нибудь из ребят с того конца. Гармонист Роман Арсенин сидит у Момичевой Насти. Склонив кучерявую голову к подголосной части гармошки, он старательно выводит плакуче истомное страдание. Изнуренный и заласканный тихими всплесками мелодии, я гляжу только на одного Романа. Все в нем чарует меня – хромовые сапоги с калошами, скрипучая кожанка, галифе, полосатый шарф... С клавиша его гармошки отскочила черная пуговка, и вместо нее Роман прибил гвоздиком белый гривенник, не пожалел...

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, лель-лель!

Рядом со мной на самом краешке бревна сидит Серега Бычков. Он тоже с того конца, но к девкам не подходит – знает, что они его не примут. Ростом Серега чуть побольше меня. Сапог у него сроду не было, не то что кожанки или галифе. Серегина мать – Дунечка Бычкова – почти каждый день побирается на нашем конце. За нею, говорят, гляди да гляди: то просыхающую рубаху стянет с плетня, то еще что-нибудь. Только у нас Дунечка ничего не крадет. Тетка сама дает, что есть.

У Сереги что ни слово, то матерщина. Я знаю, зачем он говорит при девках такие слова – от злого стыда за свою мать-побирушку и за себя. Его и кличут-то не по имени, а Зюзей. Плоше не придумать.

Гармошка ноет и ноет. То дружно-слаженно, то вразнобой девки жалостно «страдают» про любовь, а Зюзя вертит головой то вправо, то влево и вдруг сообщает на крике не в лад с гармошкой:

Как у нашей Насти
Д-нету одной снасти!

Роман Арсенин, не переставая играть, воркующе смеется, а Настя поет сильно и чисто:

Пойду в сад-виноград,
Наломаю-маю!
Я такую сволоту
Мало понимаю!

В ответ Зюзя кричит смешную и непутевую частушку про всех девок с нашего конца. Тогда с заливом, обидой и мстостью в голосе Настя выговаривает в отместку:

Задавака, задавака,
Ты не задавайся!
Бери палку на собак,
Иди побирайся!

От этой Настиной присказки у меня пропадает охота сидеть на бревнах. Мы ведь с теткой Егорихой тоже не богачи, хоть и не побираемся, – Момич все сам дает нам под праздники. Зюзя словно чувствует мое настроение. Он пододвигается ко мне и, будто ему весело, спрашивает:

– Закурим, шкет?

– Давай, – соглашаюсь я и называю его по имени. Курить мне не хочется – у Зюзи самосад, а не папиросы «Пушки», как у Романа Арсенина. Те здорово пахнут. Но я курю за компанию с Зюзей, потому что мне жалко его. Зря он кричал про Настю. Самому же теперь хоть провались, и я шепотом соучастно спрашиваю у него, какой это снасти нету у Насти?

– Да левой титьки, – умышленно громко говорит Зюзя. – Заместо ее, сохлой, она очески носит...

Я не много уразумел в этом, а подступавшие праздники совсем вытеснили из моей памяти Зюзины слова: надо было шелушить лук, чтобы красить яички, помогать тетке таскать муку из сундука, лепить из пахучего сдобного теста завитушки и крестики на макушку кулича. Дядя Иван на это время присмирел, не шалопутил и только один раз спросил тетку:

– К свадьбе готовишься?

– Ага, – весело согласилась тетка. – Дунечку Бычкову за тебя будем сватать!..

Мы с теткой перемигиваемся и хохочем, потом я бегу в лозняк на речку за сухим хворостом. В лозняке не просох и не потрескался ил половодья, и в него туго и щекотно погружаются ноги по самые щиколотки. Я ломаю сухостой и бессознательно кричу все, что кричал на улице Зюзя про Настю и про всех девок с нашего конца. Я выкрикиваю это раз десять, пока не замечаю Настю. Она стоит на берегу речки с пральником в руках, а возле нее на травяной гривке лежит горка выстиранного белья. Я приседаю за ракитой, а Настя чего-то ждет, потом окликает меня негромко и почти ласково:

– Ходи-ка сюда, Сань!

– А зачем? – спрашиваю я.

Настя за что-то не любит тетку Егорику, а заодно и меня. Тетка говорит, что она вся в мать свою покойницу – некрасивая и кволая, хотя Настя вылитая Момич. Недаром я побаиваюсь ее.

– Ходи, не бойся. Ну чего спрятался?

Мне не хочется выходить из-за укрытия, – от ракиты до Насти шагов десять, и если она вздумает надавать мне, я убегу и даже хворост захватить успею. Но Настя не собирается ловить меня. Она отбрасывает пральник, поворачивается ко мне спиной и начинает раздеваться. Я зачем-то обхватываю руками ствол ракиты и перестаю моргать, – Настя стоит вся как есть белая, статная и большая.

– Слышь, Сань! Покарауль одежу, пока я искупаюсь, – ознобно говорит она и сигает в воду.

– Застынешь, шалопутная! – испуганно кричу я, но Настя не слышит. Она дважды окунается по самые плечи, коротко и обомлело вскрикивает и карабкается на берег. Я бегу к ее одежде и хватаю всю в охапку, чтобы подать ей.

– Ой, скорей, Сань! Ой, закалела!..

– Дура такая! – говорю я и смятенно гляжу на круглые и смуглые, торчащие кверху Настины груди.

Потом, много лет спустя, я понял, какой ребячьей услуги ждала тогда от меня Настя, но о том, что я видел, как она купалась в ледяной воде, никто не узнал. Ни Роман Арсенин, ни Зюзя...

Как мы и загадали с теткой, Пасха тогда выдалась теплая и погожая. Мы разговлялись поздно, – тетка вернулась с куличом чуть ли не в полдень: наверно, лазала на колокольню, чтоб потрезвонить, а может, картины разглядывала в церкви. Все это она любит. Хорошо, потому что и страшно. Мы похристосовались, уселись втроем на одной лавке, и тетка развязала на куличе рушник. Кулич сидел на столе, как наша камышинская церква, когда глядишь на нее издали: горит вся, сверкает и приманивает.

– Красивше нашего не было, – сказал тетка. – Все завидовали!

Еще бы! На макушке нашего кулича места пустого не осталось, – так мы его разукрасили. Мы сидели притихшие и согласные, – всего ведь было много: вкусной еды, целой недели праздников, вслед за которыми сразу же наступит лето. После того как мы съели по большой скибке кулича, тетка пошла в сенцы и принесла бутылку водки, настоящей на меду, – давно, видать, берегла для чего-то, да и не вытерпела. Из щербатой фаянсовой чашки сперва выпил дядя Иван, потом тетка. Она собиралась уже налить немного и мне, но в это время в хату степенно и неслышно вошла Дунечка Бычкова.

– Христос воскрес! – протяжно произнесла она и поклонилась.

– Пошла, пошла, дура! Ходишь тут! – отозвался дядя Иван, а Дунечка миролюбиво и пьяненько сказала:

– Сам ты дурак! В божий день – и такие речи... Давай-ка вот похристосоваемся!

Она вынула из-за пазухи красное яйцо, поиграла им перед глазами и пошла к дяде Ивану, сложив в трубочку губы. И тогда я захохотал первый, а за мной и тетка, – мы вспомнили позавчерашний разговор насчет свадьбы. Дядя Иван вскочил и по-бабски сжатым кулаком неумело и слабо ударил тетку в плечо. Дунечка сразу же кинулась из хаты, а тетка поднялась с лавки и спокойно сказала:

– Ох, гляди, Петрович, беду на себя не накличь!

Она стояла и ладонью поглаживала, будто очищала то место на плече, где пришелся дядин кулак.

– А чего? Ему пожалишься? – злобно спросил дядя Иван, и я решил, что это он обо мне.

– И пожалюсь! – с вызовом сказала тетка.

– Ты больше не бейся! – похолодев от решимости, пригрозил я Царю и пододвинулся к тетке.

– Подколодники! Змеи! – выкрикнул дядя Иван, сронил голову на край стола и визгливо заголосил. Мне хотелось схватить веник или что-нибудь другое, нетяжелое, и надавать ему, чтоб не придурился! Я ни разу не замечал, чтобы дядя Иван шалопутил один, когда на него никто не глядел и сам он не видел Момича. Только при нем – вблизи или издали – он кричал «дяк-дяк» и расстегивал штаны, а зачем это делал – никто не знал. И сейчас за столом возле кулича Царь голосил не взаправду, а нарочно, всухую, и мне хотелось надавать ему так, чтобы знал и помнил. Но мне было жалко его – слаборукого, встрепанного, не похожего на мужика. Видно, тетка тоже пожалела его, потому что вздохнула и сказала:

– Глаза б мои не глядели!

Как только мы с теткой вышли из хаты, дядя Иван затих. В сенцах я присел на корточки, заглянул в полуоткрытую дверь и увидел, как он подтянул к себе кулич и с мстительной деловитостью сломал верх со всеми украшениями. Потом он налил в чашку водки, выпил, сморщился и, прежде чем закусить, погрозил верхушкой кулича в сторону Момичевой хаты...

Тетку я нашел на бревнах у Момичевых ворот, – там уже сидели соседские бабы. В белом новом платке, острым шпилем торчащим над сияющим лбом, в розовой кофточке и черном саяне, тетка была похожа на чибиску, а все другие бабы – на ворон: сидят, лузгают подсолнухи и молчат. Тетке же ни минуты не сидится смирно, хотя у нее полный карман тыквенных зерен.

– Всю макушку разорил. Ломает и трескает! – шепотом сообщил я ей о куличе. Она притянула меня к себе и сказала на ухо:

– Пускай подавится им! Возьму завтра и другой затею.

– Тот будет не свяченный, – сказал я.

– А мы с тобой сами освятим. Воды из колодезя принесем, кропильник из чистой старновки свяжем... А Царя молитву творить заставим... – и тетка залилась озорным смехом, как маленькая.

К кооперации, где уже со вчерашнего дня стояли карусели, мимо бревен шли и шли разряженные парни и девки. Настя тоже проплыла мимо нас как пава, и тетка, присмирив, долго глядела ей вслед, сощутив глаза. А потом из ворот на улицу вылетел Момичев жеребец, запряженный в бочку-водовозку. Сам Момич стоял на выступах оглобелей позади бочки. Заваливаясь назад, чтобы сдерживать жеребца, землисто-серый в лице, Момич был страшен и пугающе притягателен в своей пламенной атласной рубахе навывпуск, клубом вздыбившейся на спине.

– Горю! – коротко и густо крикнул он неизвестно кому и гикнул на жеребца. От улицы проулок круто сбегал вниз, к речке, и по этой крутизне жеребец пошел галопом. Момич сначала пригнулся, а затем плашмя упал на бочку. Нельзя было ничего различить – где бочка и где жеребец, потому что все слилось в один грохоткий смерч, расцвеченный красным и черным. Вдгон ему, раскинув руки, медленно двигалась тетка, то и дело останавливаясь и приседая, будто готовясь словить цыпленка. Но как только жеребец врезался в береговой лозняк, а Момич поднялся во весь рост и откинулся назад, повисая на вожжах, тетка подхватила подол саяна и побежала к речке, выкрикивая что-то звонко и тоненько. Я зачем-то подождал, пока она скрылась за кустами ивняка, и только после этого оглянулся на Момичеву хату. Из-за нее, с огорода, на улицу грузно наплывал золотисто-желтый буран дыма. Я побежал на огород через свой двор и за углом сарая, в прошлогоднем иссохшем бурьяне, увидел дядю Ивана. Он сидел на корточках, низко пригнувшись, и просветленно, почти зачарованно глядел вверх, на столб дыма: над его вершиной и сбоку трепетно вились сизари, – их страсть сколько водилось в Момичевой клуне.

Это она и горела. С обоих углов, обращенных к нашей меже. На недавно посеянной нами картошке толпился веселый и по-праздничному разнаряженный народ. Огня не было видно, валил только дым, но он сразу же пропал, как только пламя с гулом выбилось из-под повети

и охватило солому крыши. Тогда и подросел Момич. Не слезая с закорков бочки, он натужно обвел взглядом полыхавшую клуню и ударом ноги вышиб из бочки кляп. Круглая радужная струя воды с визгом вырвалась и вонзилась в землю, буравя воронку, и Момич глядел только на нее и ни на что больше.

– Ничего не поделаешь, Евграфыч! Должна сгореть вся как есть! – утешил его кто-то из мужиков. Момич будто не слышал. Он подождал, пока вода вытекла из бочки, тронул вожжиной жеребца и медленно поехал с огорода к себе во двор.

Через час от клуни остался чадящий ворох золы, и люди разошлись, недовольные скоростью пожара. Я поднял грудку чернозема и швырнул в середину вороха.

– Не замай! – властно сказал у меня за спиной Момич, и я забыл, что умею бегать. Момич был все в той же красной рубахе и высоких яловых сапогах. Он обошел меня, остановился у обгорелой притолоки и проговорил непонятное:

– Та-ак... Выходит, дурак-то мал, да в две дудки сыграл...

Я пошел домой. Мне было обидно, что пожар случился в праздник, когда и без того забав у людей сколько хочешь. Да и тетка не видела его. Она чуть не до вечера пробыла на речке, – хотела, видно, поглядеть, как Момич во второй раз помчится за водой...

Может, это только наши камышане такие – в праздники аж охрипнут от песен, друг друга по отчеству величают и в гости закликают кого ни попало, а потом недели две ходят, будто у них коровы подошли. Зато дядю Ивана тогда как подменили. У него не исчез тот просветленно радостный взгляд, каким он следил из бурьяна неделю тому назад за полетом голубей над Момичевой клуней. Он даже покрикивать стал на тетку, и она удивленно вглядывалась в него и молчала.

Момич – этот сроду не был разговорчив, а после пожара совсем стал как черт – сердитый, черный. На Красную горку он с самого утра начал возить на огород бревна, что лежали на улице, – новую клуню затеял ставить. Тетка раза два украдкой выглядывала в окно, тревожась чего-то, и дядя Иван, боевито стерегший ее, приказал:

– Чего зришь? Обернись спиной к окну и сядь на лавку!

– А пропади ты пропадом, дурак! – с горькой силой проговорила тетка и пошла из хаты. В окно я видел, как она сказала что-то Момичу издали. Тот выпрямился, остервенело плюнул и спихнул с повозки на землю длинное и толстое бревно – то самое, на котором по вечерам сидели девки. А в полдень Момич взял и срубил дуб, что стоял на его огороде повыше сгоревшей клуни. На нем водились грачи, и я пошел поглядеть, что сделалось с детвой, – побилась небось. Дуб был уже очищен и лежал коричневый и пахучий, как опаленный боров. Момич поддел колом тонкий конец его и одним рывком посадил на подушку задних колес повозки. Я не отважился подойти поближе и присел на своей меже, – мне и оттуда было слышно, как сипели граченята под обломками сучьев.

Момичу не удавалось уложить на передок повозки толстый конец дуба: он был склизкий, неухватистый, и кол под ним зарывался в землю. Тогда Момич, не замечая меня, отшвырнул рычаг, приник к дубу и обнял его руками. Я поздно заметил, как приподнялся над землей комель дуба, потому что смотрел на спину и плечи Момича, – там у него под белой замашной рубахой медленно стали расти и шевелиться круглые клубки.

– Скорей... кол подсунь! – не подымая головы, удушенно крикнул Момич, но я не понял, кого и о чем он просит, и не сдвинулся с места. Момич выронил дуб, оглянулся зачем-то по сторонам и сказал мне укоряюще:

– Что ж не подмогнул? Не так делают по-соседски!

Я схватил кол и подбежал к дубу. Момич поплевал на руки, потер их и наклонился к бревну. Я приготовил рычаг, но против воли смотрел не на дуб, а на спину Момича, – там опять

вздулись и бурно взыграли под рубахой округлые клубки, а шея набрякла землисто-малиново и укоротилась так, что почти пропала совсем.

– Ну? – рявкнул Момич, и я сунул под дуб кол и отскочил в сторону. Момич бережно опустил на рычаг дуб, выпрямился и сказал:

– Да и разиня ж ты, Александр!

Я тогда впервые узнал, что это – мое имя.

Новую клуню Момич поставил за какую-нибудь неделю или полторы, и все эти дни я провел с ним. Он, наверно, залезал на стропила затемно, а я приходил попозже, взбирался наверх и там торопливо и трудно умнел, потому что Момич работал и молчал, и я должен был угадывать, когда подать ему расщепленную ольшину – лату, когда буровец и топор, когда деревянный гвоздь, похожий на кляп от бочки: ими он крепил латы к кроквам. Все, что переходило из моих рук в Момичевы, мгновенно и странно оказывалось для меня непомерно большим и ценным, исполненным непонятного значения и смысла. Это, видно, происходило оттого, что Момич забирал вещи каким-то обхватно-емким и властным движением обеих рук, забирал полностью и навсегда.

Все в нем покоряло и приманивало мое ребячье сердце. За эти дни там беспорядочным ворошком накопилась неосознанная обида за его прежнюю суровость ко мне и ревнивое желание завсегда водиться с ним, быть у него на виду замеченным и привеченным. Он, наверно, догадывался об этом, потому что нет-нет да и ронял какое-либо слово. Я отвечал ему десятую.

– Ну и балабон! В кого ж это ты удался такой, а? – спросил он меня однажды. Мне почему-то показалось, что ему хочется, чтобы я сослался на тетку, и ответил:

– Знаю в кого.

– В кого ж это?

– В тетку Егориху.

– Жалеешь небось ее?

– А то нет!

Момич на минуту задумался, медленно оглядел сады Камышинки и проговорил не в связь с прежним:

– Рясно нынче вишник цветет.

Несколько погодя, он послал меня за водой – «холодничку захотелось», и я побежал с ведрами к колодцу, а когда вернулся, то еще издали увидел под стропилами клуни дядю Ивана. Он стоял, задрав голову, ожидая чего-то от Момича, а тот несокрушимо сидел наверху, работал и молчал. Дядя Иван посеменил ногами и визгливо крикнул:

– Отстань, говорю! А то недолго и нового петуха подпустить.

Момич по обух вонзил лезвие топора в матицу и потерянно сказал, словно попросил:

– Ты в другой раз не дури, Иван. Слышишь?

– Вот и отстань! – окреп голос Царя.

– Не дури, – опять попросил Момич. – А то... знаешь?

– Что будет?

– Худо.

– Кому?

– Заднице твоей, – прежним увещающим тоном сказал Момич. – Поймаю и...

Он не договорил, заметив меня, и взялся за топор. Дядя Иван собрался было расстегнуть штаны, но раздумал, погрозил мне кулаком и поплелся домой. Я влез с ведром наверх, подождал, пока Момич напился, и спросил:

– Чегой-то он хотел?

– Кто? – непонимающе взглянул на меня Момич.

– Дядя Иван, – сказал я.

– Да это он так. Жалился тут мне... Ему, вишь, не к рукам цимбала досталась, – непонятно ответил Момич и кивнул на сады. – А вишник хорошо нынче цветет. Ты погляди-кась! – Рясно! – сказал я.

В полдень мы покидали клуню и шли к Момичу обедать. Прежде чем попасть во двор, нам приходилось миновать крошечный Момичев сад, огороженный высоким сухим тыном. Там стояли три сизых улья – колоды, и на одной из них был вырезан бородато-лобастый мужик, до капли похожий на самого Момича. Выходившие на огород ворота, сколоченные из толстых сосновых плах, висели на приземистой круглой верее, тоже чем-то напоминавшей Момича. Сразу же за ними меня обдавало прохладой чистых закут и оторопью, – тут опять все походило на хозяина: черный кобелина на длинной привязи, черный молчаливый петух, презрительно глядевший круглыми желтыми глазами, бурдастый черный бык-двухлеток, приветно укладывавший голову на варок при подходе Момича. Меня пугала величина вил – об двенадцати рожках и с такой ручкой, что она годилась бы на оглоблю, удивляла строгость и подобранность всего двора – тут не было того вольного запустения и той первородной гущины калачника и крапивы, к которым я привык у себя.

К нашему приходу Настя выносила из чулана чистый рушник, и мы возвращались на крыльцо. Там над лоханью я поливал Момичу из большого самодельного ковша-утки. Его как раз хватало ему на одну пригоршню. Перед тем как сесть за стол, Момич взмахивал рукой на единственную икону Николы Чудотворца, садился в угол и оберучь брал со стола огромную чисто ржаную ковригу. Ребром установив ее себе на грудь, он под свой облегченный вздох вонзал в испод хлеба ножик. Скибки выходили через всю ковригу. Настя сажала на стол деревянную миску с лапшой, и мы начинали есть – неторопливо, навально. Я всегда садился напротив окна, глядевшего на наш двор, и все время стерег тетку: мне хотелось, чтобы она увидела меня тут, у Момича. Момич, исподтишка следя за мной, тоже начинал кренить голову вбок, заглядывая в окно, а Настя тогда хмурилась и резко, со стуком, клала на стол ложку. Момич отрывал лицо от окна, круто вскидывал глаза на Настю и спрашивал угрожающе и заботливо:

– Никак обварилась?

– Как огнем обожглась, – подтверждала Настя.

– А ты дуй. Вот как я... али он, – серьезно советовал Момич и сам протяжно дул на ложку, и я дул на свою вслед за ним.

После клуни мы с Момичем справили вместе не одну и не две работы: вывезли с его двора навоз, и в поле я приезжал на повозке, а обратно верхом на жеребце, уцепившись за седелку; потом взметали два загона парины – один его, а второй наш, и все время я ходил по борозде сзади Момича. Он и не чуял, что я ступал по его следам, для чего мне приходилось каждый раз прыгать, и, наверно, от этого к вечеру все мое тело гудело протяжно и отратно. Я похудел и отчего-то сильно подрос за это время, и не было случая, чтобы я проспал восход солнца, а с ним и Момича, – меня будила тетка, ей нравилось то, чем я теперь жил.

Сперва издали, с верха клуни, а потом вблизи Момич молча показал мне скрытый до этого от меня мир, окружавший Камышинку, – поля, острова кустарниковых подлесков, луга и болота, а дальше, к заходу солнца, – нескончаемую зубчатую стену сизого леса, что вместе с небом, белыми облаками и дующим оттуда ветром Момич называл странным словом «Брянщина». Куда-то в эту манящую сторону он и водил в ночное жеребца и пас там его в одиночку, – иначе было нельзя: жеребец как дурной сигал на всех чужих лошадей. Я маялся и ждал, когда Момич позовет меня в ночное, должно же было наступить такое время, от предчувствия которого у меня заходил дух. Но он все не брал и не брал, и незаметно подступила Троица. Свою хату мы с теткой украсили ветками берез и кленов аж за день до праздников, и весь этот день она была как первая невеста в Камышинке. Особенно пышно и густо мы утыкали зеленью крыльцо и то окно, что выходило на Момичеву сторону. На земляной пол в сенцах настлали богородицыной травы пополам с мятой, а дорожку со двора на улицу посыпали желтым пес-

ком. Ночью в пахучей темноте мы долго гадали, привезут ли в Камышинку карусели и где их поставят – на выгоне возле церкви или за речкой. Лучше б на выгоне, тут нам ближе.

Кое-как мы прокоротали ночь. На заре тетка подхватила в церковь, чтоб раньше всех занять место возле страшных картин, а через час и случилось то, чему тогда совсем не время было случиться. Момич нарочно, видно, подгадал, чтобы вернуться из ночного в такую пору, когда загудит колокол. Он потому и наладился не всегдашней своей дорогой по-за речкой, а выгоном, чтобы люди видели, когда пойдут к обедне. Сам он шел пешком, ухватившись рукой за уздечку, а верхом на жеребце ехали два человека, связанные друг с другом пеньковым путом и ремненным поводом от уздечки. Передним на жеребце сидел Сибилёк – престарелый мужичонка-бобыль с того конца села, а позади него – Зюзя. Сибилёк мельтешился и дергался, то и дело кланяясь камышанам, обступившим жеребца, а Зюзя прятал за его спиной лицо и молчал. Момич тоже помалкивал и только на улице возле своих ворот объяснил все и всем сразу:

– Жеребца хотели увести.

Он ссадил Сибилька и Зюзю в холодке ворот и увел жеребца, а связанных сразу же начали бить.

Потом, позже, я узнал, что конокрадов в наших местах положено было убивать обществом и что тот, кто поймал их, не должен присутствовать при этом: схвативший лихоимца как бы в награду избавлялся от дополнительного труда, и одновременно следственные власти лишались в нем первоучастника и свидетеля самосуда. Нет, не всякий вор, а только конокрад – человек, в одну ночь пускавший по миру потомство семьи, у которой он уводил кормилицу-лошадь, – подпадал под обряд сельской саморасправы. Овеянный переходящими из поколения в поколение легендами и сказами, награжденный в них ласкательными «молодец» и «разбойничек», вызывавший к себе тайную зависть и восхищение своей удалей и отвагой, пойманный конокрад все-таки подлежал всенародному истязанию. Я тогда впервые видел Сибилька – знаменитого камышинского конокрада. Говорили, будто еще в молодости он ходил вместе с отцом – тоже Сибильком – подглядывать коней аж в донские степи. Старого Сибилька где-то там и прибили в ковыльнике, а над молодым учинили какую-то злую и веселую потеху, после которой он не мог жениться. Он и не женился, но любить чужих лошадей не перестал. В своем селе Сибилёк не баловал, и только раз, лет девять или десять тому назад, когда в Камышинке стоял конный полк не то белых, не то красных, увел и спрятал в лесу офицерского дончака, похожего на лебедя, – как молоко белый будто был.

Теперь Сибилёк лежал в тени ворот рядом с Зюзей. Тот сразу же повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и зажмурился под ударами ног, а Сибилёк улегся на спину, расслабил тело и беззащитно обратил к камышанам голое сморщенное лицо. Трудные у Сибилька были глаза, и, наверно, он знал эту их силу – знал по какому-то давнему и памяtnому для себя случаю! На них нельзя было долго смотреть: блекло-синие, беспомощные и детски невинные, они гляделись покорно и моляще. В каком-то исступленном восторге самоотречения Сибилёк не говорил, а пел высоким жиденьким голосом:

– Православные! Казните меня, проклятущего! Колите мои глазунки... Нет моей моченьки глядеть на вас от стыдобушки в такой праздник... Бейте меня больней! Камушками бейте! В грудку мою и личико!..

Но камышане били Зюзю, а не его.

До этого я уже бывал свидетелем гуртовых уличных драк. Они всегда случались в праздник, и смотреть на них было весело: тогда никто не знал, кого били, потому что все наскакивали друг на друга, а после село справляло мировую, и праздник протягивался еще на сутки. Видеть же то, что происходило в этот день у Момичевых ворот, было страшно. Зюзю били спокойно, трезво и расчетливо, а он только и знал, что сжимался в комок и берег живот. Сибилёк все канючил и канючил о «стыдобушке», но когда скрюченного Зюзю подняли и понесли из круга, чтобы ударить об угол вереи, старый конокрад испуганно притих.

Тогда я и побежал за Момичем. Он собирался куда-то ехать и яростно шуровал квачом снятое с повозки колесо. Возле закуты стоял в хомуте жеребец.

– Дядь Мось! Побегли скорей, а то мужики Зюзю убьют! – крикнул я. Момич воткнул квач в мазицу, насадил на ось колесо и, не взглянув на меня, угрюмо сказал:

– То не твое соплячье дело!

Он направился к жеребцу, а я ухватился за подол его рубахи и повис, подобрав ноги. Я не умел плакать в голос, с притворной жалобой, и загудел трубно, с переливами. Момич остановился, не отцепляя меня, и удивленно сказал:

– Как недорезанный боров! Чего ты?

– Его об верею прямо... Черти такие! Самих бы так...

– Ишь ты. Самих. Они небось... Ну-ка, слезь, – сказал он, но я не выпустил из своих рук его рубаху. Так, со мной на подоле рубахи, он и вринулся в сутолочь мужиков и баб. Я не видел, кому он сказал: «Ну, будя, будя. Кладите на место», – и кто ему ответил, чтобы он не встравал и дал людям соблюсть закон.

– Будя, говорю! – гневно повторил Момич, и тогда я отлип от него и увидел Зюзю. Он лежал возле ворот, вытянувшись и запрокинув голову. Изо рта у него выталкивалась розовая пена. Зюзя дергался и потухающими глазами, вприщур, глядел на Момича. Я наклонился к нему, но Момич отстранил меня и знающе развязал ему руки. Путо он скрутил жгутом и отшвырнул в сторону. Зюзя перевалился на живот и рывками пополз к нам во двор. Сибилёк елозил по кругу и ловил мужиков за ноги. Он, наверно, решил, что пришла его очередь покачаться на руках у камышан перед дубовой вереей, и вымаливал себе откуп.

– Крещеный народ! Развяжите мои белые рученьки за-ради Христа! Дайте мне тоже сподобиться и вдарить его напоследок!..

И его развязали с нетайным замыслом поглядеть, что будет. Стоя на коленях, Сибилёк нашарил возле себя обломок кирпича и сунул его в длинную холщовую сумку, добытую из-за пазухи.

– Вот я его... благословлю заради праздничка... Куда он скрылся, родимые мои?

Легко, как перышко, он взвился на ноги и метнулся вслед за Зюзей, крутнув над головой сумкой.

– Ну ты! Осмёток! – грозно крикнул Момич, и Сибилёк понял, что это ему. Не оглянувшись, он прирос к месту и опасно втянул голову в плечи. Никто ничего не говорил больше, все чего-то ждали, и Сибилёк ждал тоже.

– Пс-сина! – раздельно сказал Момич.

Дробной трусцой и как незрячий Сибилёк побежал к проулку. Сумку он держал в протянутой перед собой руке, будто там сидело что-то живое.

На крыльце у нас было сумрачно и пахуче, как в ракитнике. Я подложил под голову Зюзе беремя богородицыной травы с мятой, и когда тот улегся, из сеней высунулся дядя Иван. Он как кот фыркнул на Зюзю, а мне погрозил за что-то и захлопнул дверь. Потом я узнал, что Царь тоже бил Зюзю, пока я кликал Момича. Лягнул босой ногой и убежал.

Зюзя сплевывал сукровицу и всхлипывал, и, чтобы хоть чем-нибудь утешить его, я сказал:

– Сибилёк вон совсем хотел тебя... Знаешь чем? Кирпичакой в сумке!

Зюзя отнял от травы иссиня-чугунное лицо и посмотрел на меня неверяще, вприщур, как раньше смотрел на Момича. Мне хотелось, чтобы он поверил, будто я один отбил его у мужиков, – участие Момича в этом казалось мне сейчас, при Зюзе, совсем ненужным; с него для меня хватало и того, что он сделал один: поймал и связал двоих. Один двоих! Ночью! Я пододвинулся к Зюзе и спросил так, будто вместе с ним и Сибильком ходил красть Момичева жеребца:

– Как же он вас половил? Обоих сразу?

– Не, – брезгливо сказал Зюзя, – сперва одного.

– Сибилька, – догадливо подсказал я.

– Не. Его после...

– И отлупил? – Я не мог скрыть какое-то неумное восхищение Момичем.

– Не... Связал, и все. Ну да ничего. Пускай. Я с ним еще сквитаюсь! Он у меня... – Зюзя не договорил и всхлипнул. В эту минуту и явилась тетка Егориха. Я сразу догадался, что она не ходила в церковь, а была в ракитнике за речкой, – только там и росли голубые пушистые цветы «мохнатухи». Она нарвала их целую охапку.

– А говорила «к обедне иду»! – упрекнул я ее. Тетка хотела что-то ответить мне, но увидела Зюзю и вскрикнула:

– Серега! Да кто ж это тебя так!

Зюзя зарылся лицом в траву и заныл протяжно и тоненько. Под его жалобу я и рассказал тетке о себе и о нем. О Момиче я упомянул лишь, как он один связал Сибилька с Зюзей и привез их на жеребце.

– А сам всю дорогу пешком шел, – сказал я. Тетка испытующе смотрела мне в рот и молчала, потом повернулась и пошла на огород, неся цветы как веник. Я посидел немного возле затихшего Зюзи и побежал за нею: мне не понравилось, как она поспешно ушла с крыльца.

Прошлогодний сухой бурьян за нашим полуразвалившимся сараем обновлялся новой дикой порослью, – тут уже пахло горьким и сырым духом чернобыльника, глухой крапивы и белены. Когда валом поднимется и зацветет репейник, тетку сюда силком не заманишь: боится Момичевых пчел. Сейчас же они еще по-весеннему смирные, ручные. Отсюда, из-за бурьяна, я и увидел тетку. Она стояла у Момичевой пасеки, прижавшись к плетню, и как заводная говорила и говорила кому-то:

– Шу-шу-шу-шу! Ти-ти-ти-ти!

– Так неш я... – прогудел голос невидимого за плетнем Момича. А я-то думал, что он уехал. Собирался ведь! Я не хотел и боялся, что Момич рассерчает за мою невольную неправду, будто не он, а я спас Зюзю...

Тетка вернулась минут через тридцать. В ладонях, поверх завялых цветов, она держала широкий лопух, а на нем, как на блюде, лежала косо обрезанная застарелая восковая глыба.

– Мед все хворобы и обиды лечит, – строго сказала она Зюзе. Лежа, Зюзя отломил кусок сота, запихнул его в рот и зажмурился.

Вечером он ушел домой. Под остаток сота тетка сорвала ему свежий лопух.

2

За лето я до конца перенял и впитал в себя все, что пленяло меня в Момиче. Все было во мне от него – медлительная и прямая походка, перебитый паузами разговор, манера щурить глаза, держать в руках ношу. Тетка ничего будто не замечала, но однажды, когда я чересчур долго продержался с ответом на какой-то ее вопрос, она уткнулась лицом мне в макушку и сквозь смех сказала:

- Ну прямо вылитый! Все морщинки снял с дяди Моси...
- Может, ты сама сняла! – сказал я, обидясь неизвестно на что.
- И сама сняла, – призналась тетка. – Куда ж я от вас денусь...

Трудная тогда выдалась для меня зима, трудная потому, что мне пришлось высвобождать место в сердце, чтобы разместился там второй человек, а я не умел ничего делить в себе на части, не хотел даже втайне поступиться своей привязанностью к Момичу. Этим вторым человеком был наш новый учитель. Он явился к нам лютым январским утром, отбил на крыльце школы умопомрачительную чечетку – в сапожонках был, – а потом зашел в класс и с порога сказал:

- Меня зовут Александр Семенович Дудкин. Здорово, ребята!

Ему было лет восемнадцать, а может, и двадцать два. Он стоял, приплясывая, растирал уши синими набрякшими ладонями и чему-то смеялся. Щеки его пылали как огонь. Мы встали и вразнобой ответили:

- Дра-а-ась!

Так он познакомился с нами, а мы с ним.

Тогда стояла какая-то непутевая погода: каждую ночь бушевала верховая метель, а по утрам наступала вселенская яркая тишина и в мире ничего нельзя было различить – все пряталось под многометровым снежным покровом. Мы приходили в школу закутанные в полушубки, зипуны и платки. На каждом из нас слева направо висела белая холщовая сума. Там мы носили хлеб, казенную книгу для чтения «Утренние зори» и самодельные грохоткие ящички под карандаши и ручки. До последнего стежка и метки сумки походили одна на другую, и только моя была как завезенная из другого села – тетка приделала к ней широкий откидной клапан, а на нем зеленым гарусом вышила петуха и две лупастые буквы «С» и «П». Эта теткина забава-забота и подтолкнула нас с учителем к нечаянной дружбе, – на второй день после его приезда я запоздал на урок, а когда ввалился в класс, то был сражен и подавлен увиденным: у окна, в полосе солнечного клина, стоял учитель в зеленых бриджах и гимнастерке, перетянутой желтым сияющим ремнем с портупеей. Я впервые видел юнгштурмовский костюм и топтался у дверей, не решаясь пройти к своей парте. В классе стояла непривычная тишина.

– Ну? А почему ты не здороваешься? – командно-весело спросил Дудкин и ступил ко мне, не выходя из солнечного луча. Я стоял и смотрел на его портупею. Он поиграл на ней пальцами левой руки, а правой погладил гарусного петуха на моей сумке и заинтересованно спросил:

- Сам, что ли, нарисовал?
- Не, тетка Егориха вышила, – сказал я.
- А буквы что означают?
- Меня самого, – сказал я. – Санька Письменов.
- А по отчеству как тебя?
- Семенович, – почему-то не сразу ответил я.

Так мы разом выяснили, что ходим в тezках и что я до последних корешков души восхищен его портупеей. В тот же день я узнал – и навсегда почему-то запомнил, – что Лермонтов (стихи его были у нас в «Утренних зорях») буржуйский поэт, не признающий рабоче-крестьян-

скую революцию. За всю жизнь он написал один-единственный пролетарский стишок – «На смерть поэта», но это получилось у него случайно, потому что тогда какой-то белый офицерюга убил на дуэли Пушкина. Между прочим, Пушкин тоже был крепостником-помещиком...

То ли мой гарусный петух и буквы, то ли неотрывный взгляд, каким я смотрел на портупею, но это особым и нужным, видать, ладом улеглось на сердце Александру Семеновичу: он пересадил меня с задней на переднюю парту, чтобы я был ближе к окну и к нему самому. С затаенным чувством родственности – тезка же! – я заметил, что в ясные дни Саше Дудкину трудно совладалось с какой-то щекочущей его изнутри и снаружи радостью; он не выходил тогда из солнечного русла и не ступал, а будто плавал в нем и то и дело взглядывал на меня.

С каждым днем наши уроки по чтению и письму становились все больше и больше похожими на летучие праздники: мы по целым часам разучивали неслыханные до этого песни «Вперед, заре навстречу» и «Взвейтесь кострами, синие ночи». Слово «пионер» Дудкин произносил отрывисто-укороченно и сочно – «пянер», и оно воспринималось нами как обещание какого-то диковинного подарка. Наверно, просто невозможно было обмануться в этом пламенном ожидании грядущего дня, приготовившего тебе не испытанную еще радость, и первым она отыскала меня. Это случилось на Масленицу. Мы тогда запаздывали к урокам и приходили веселые, добрые друг к другу, с лоснящимися рожками, – ели блины. Однажды, терпеливо подождав и усадив всех, Дудкин неожиданно приказал мне встать. Я вскочил, а он достал из кармана бридж огненно-красный косокрылый кусок шелка, распялил его в руках и пошел ко мне, ступая четко и гулко. Он долго примерял и завязывал на мне галстук, – шея была чересчур тонка, и шелковые концы свисали аж до гашника. Я изнемог от тишины, какая воцарилась в классе, от своих чувств и мыслей, от прикосновения к подбородку жарких Сашиных пальцев. Мне надо было сесть и отдохнуть, тогда все обошлось бы хорошо и достойно, но Дудкин вывел меня на середину класса и там, укрепившись по команде «смирно», сказал, чтобы я повторял за ним слова пионерской клятвы. Мы стояли с ним в полушаге друг от друга, и в его больших синих глазах я видел себя – маленького, головастого, с огненным галстуком на шее.

И я не одолел своего восторга и немного предчувствия тех незримых перемен, что должны были, как я думал, наступить в моей жизни; не перенес торжественного голоса Дудкина, себя, отпечатанного в его глазах, не осилил колдовски завораживающих слов клятвы. На первой же фразе «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...» – я шагнул к Дудкину, обнял его колени и заревел, как тогда на Троицу, во дворе у Момича.

Всех остальных «третьяков» и «четверяков» школы Дудкин зачислил в пионеры дня три или четыре спустя. Они тоже получили галстуки, но те были не шелковые и раза в два меньше моего.

Клялись мы хором.

Нет, я ни в чем не обманулся, – та весна протянулась для меня как бесконечно разгонистый кон на каруселях, и за это никто не требовал платы. Как только начал таять снег, у нас почти прекратились занятия: было не до того. Каждое утро мы выстраивались у крыльца школы в колонну по четыре, а сам Дудкин становился шагах в трех впереди и, оглянувшись по сторонам – видит ли кто-нибудь? – подавал команду «Шагом марш» и «Запевай». Запевать полагалось ему самому, а мы под его соло отсчитывали в уме пятнадцать шагов на месте и лишь на шестнадцатом, с левого лаптя вперед, подхватывали разом:

Близится эра светлых годов!..

Нашу колонну постоянно замыкала подвода, наряженная сельсоветом. По виду ее хозяйина всегда можно было узнать, был ли его сын с нами. Если был, то камышанин сидел в передке саней лицом к нам и посмеивался, но зачастую подвода плелась далеко позади, и тогда, не прерывая песни, нам надо было присматривать за ней: могла отстать совсем...

Мы собирали утильсырье.

Это слово так и не утратило для меня тот покоряюще-первородный смысл, который вложил в него тогда Саша Дудкин. Камышинку мы обыскивали и очищали с того конца. За школой, у ее глухой стены, уже до самой крыши высилась гора прохудившихся ведер, битых чугунов и сковородок, копыт, веревочных осметков и разного тряпья, но нам все было мало и мало. Дудкин сказал, что из этого в Москве будут строить аэроплан. Уже наступающим летом аэроплан тот появится над Камышинкой. Он даже сесть может тут, – места на выгоне хватит...

Я возвращался домой в сумерках. К моему приходу тетка грела горшок воды и перво-наперво отмывала мне руки, «чтоб не приключилась короста», а потом полуприказывала, полупросила:

– Ну, не томи!

И я рассказывал ей об аэроплане и Дудкине, обо всем, что подглядел и подслушал на том конце. Она долго смеялась, когда я сказал как-то, что все камышинские хаты точь-в-точь похожи на своих хозяев.

– А наша на кого ж?

– Ишь, змея! Забыла, кто тут хозяин! – плачуще отозвался Царь из чулана, но я молча показал пальцем на потолок и на сияющий лоб тетки. Она согласно кивнула и тут же поглядела в окно на Момичеву хату.

С Момичем я не встречался уже давно и с нетерпением и опаской ждал, когда очередь дойдет до его двора, – отдаст он нам железные обручи от разошедшихся кадок или нет? Они висят под навесом сарая на длинном деревянном кляпе. Штук восемь, а то и все десять. Но на наш конец мы так и не добрались: грянуло половодье, и через проулки и буераки нельзя было ни пройти, ни проехать. Зато на последний день нашего похода на тот конец Момичу выпало дежурство с подводой. Мы уже построились, когда он подъехал к школе в больших извозных санях. Хвост у жеребца был завязан узлом, чтобы не забрызгался, и сам Момич нарядился в сапоги, как на праздник. Не сходя с саней, он оглядел утильсырье, затем нашу колонну и, заметив меня, позвал негромко, но властно, как своего:

– Ходи-ка сюда, Александр!

Я подбежал. Момич окинул меня насмешливо-пристальным взглядом и кивнул на кучу утильсырья:

– Это куда ж потом деть надо?

Я сказал об аэроплане и почему-то покраснел. Момич снова оглядел живописную пахучую горухлама и с сомнением сказал самому себе:

– Да неуж полетит!

– А то нет? – спросил я.

– Гм, – сказал Момич, – вот поплыть оно может... Ну садись, поехали. Нечего лапти мочить.

Я успел бы еще стать в строй, – ребята только что начали топтаться на месте под запев Дудкина, но послушаться Момича было трудно. Мы поехали следом за колонной. Жеребец лязгал удилами, колесом выгибал шею, кося по сторонам фиолетовыми глазами, и вдруг напрягся и призывно заржал, начисто заглушив песню. Дудкин выбежал на обочину раскисшей дороги и погрозил нам кулаком. Момич осадил жеребца и беззвучно захохотал, втиснув бороду в воротник полушубка. Это было в первый раз, когда я видел Момича таким веселым. Он полулежал в передке саней и взглядывал на меня так, будто я щекотал его.

– Ух-ух-ух! Слышь, Александр! А люди-то могут подумать... будто я наострился под вашу песню – ох-ох-ох – на погорелое собирать!..

Может, он и в самом деле смеялся только над этим и ни над чем больше, но мне было обидно и тревожно: зря он разговаривал со мной про утильсырье. «Плыть может»... Но нешто

Дудкин хуже его знает, полетит аэроплан или не полетит? За что ж ему выдали тогда портупею? За так никому их не дают...

Я сидел в санях и не знал, как быть – слезть и пристать к колонне или же остаться с Момичем. Того и другого мне хотелось поровну.

С выгона Дудкин ввел колонну в улицу села и остановился на пригорке возле приземистой хаты без крыльца и сеней, – тут нас вчера застал вечер. Хата стояла над скотным проульком ненужным выносом из общего посада, и на ее растрепанной соломенной крыше опрокинуто сидел не то чугунок, не то горшок с выбитым дном. Хата кренилась на юг, к речке, и туда же зырились два продолговато-узких окна, обведенные бурыми ковылюжинами, – такая краска получается из размолотого кирпича. Видно, ее развели больше, чем потребовалось на окантовку окон, и на глухой стене, обращенной к улице, под самой повестью, чтоб всем видать в будни и праздники, перваковскими буквами-раскоряками были напечатаны два коротких матерных слова. Я так и не понял, заметил их Момич или нет: он стоял возле саней хмурый, большой, прежний и глядел мимо хаты куда-то за речку.

Я и не подозревал, что давно уже нарисовал в мыслях облик Зюзиной хаты. Только у меня она была с настоящей трубой. И без кирпичной краски.

Уже на пятый день после того как растаял снег, никто, кроме нас с Дудкиным, не явился в класс, – он пришел в своей юнштурмовке, а я босой, с галстуком на виду. Мы отсалютовали друг другу, и Дудкин спросил, где остальные пионеры. Я сказал, что больше уже никто теперь не придет.

– Почему? – удивился он.

– Овечек погнали на поля, – не сразу ответил я.

– Вот тебе на! Разве в селе пастухов нет?

– Есть, – сказал я, – да только сперва всем хочется самим постеречь...

– Пянер, прежде всего, должен соблюдать свой устав, а не овец пасти! – строго сказал Дудкин, и от меня немного отхлынула летуче беспокойная зависть к тем, кто погнал в поле овец.

Мы стояли на школьном крыльце, залепленном толстым слоем подсыхавшего на солнце чернозема, и моим ногам было тепло, как на печке. Выгон уже розоватился, – проклеивалась молодая трава, а на гребнях канав разноцветно сияли и шевелились лучистые пятна. Я-то хорошо знал, что это всего-навсего осколки бутылок, но они заманивали поднять их, отереть подолом рубахи и приложить к глазам, чтобы поглядеть на небо, на Камышинку, на церкву. Тогда сразу увидишь пугающе преображенным, не своим, а каким ты сам захочешь: коричневым, голубым или пожарно-желтым...

– Надо немедленно собрать всех пянеров! – прежним строгим тоном сказал Дудкин. – Тебе известно, где они сейчас находятся?

– Наверно, во-он там, – показал я на заречные поля. Они были подернуты сизой пеленой, дрожавшей и переливающейся как вода, и все, что там различалось – гряда разлтых крошечных ракушек вдоль дороги, тут и там раскиданные бурые стога сена, кромка поднебесного мгlistого леса, – все это не стояло на месте, сдвигалось, переламывалось и снова возникало, как в сказке. Конечно ж, я погнал бы туда овец, если б они у нас были!

– Туда же километров пятнадцать будет! – определил Дудкин.

– Брянцина потому что, – сказал я.

Дудкину давно уже хотелось закурить, он несколько раз доставал из кармана бридж пачку «Пушек» и сразу же прятал ее, покосившись на мой галстук. Я бы мог и снять его, а потом повязать опять, но ведь неизвестно было, сколько мы еще пробудем тут вдвоем, и я сказал:

– Не бойтесь, Алексан Семенч. Я никому не скажу.

– О чем? – растерянно спросил он.

– Про папиросы.

– Да я и... Ну и чудака ты, Письменов! Он, видишь ли, не скажет!.. А ногам тебе не холодно?

– Аж жарко, – сказал я. – Выгон вон уже какой сухой... Небось и аэроплан не завяз бы.

Дудкин, видно, и сам все время помнил об утильсырье. Он повернулся ко мне боком и раздраженно сказал:

– Зимой не успели отправить в волость, а теперь трудно с гужтранспортом. Тут же вагона два будет!..

Мне хотелось сказать, что Момичев жеребец за один раз увез бы половину нашего утильсырья, только б телегу найти побольше, но Дудкин стоял ко мне боком, будто обидясь на что-то, и я смолчал и стал смотреть за речку. Там по-прежнему струилось знойное марево и двоились ракитки, а по небу, прямо на Камышинку, высоко плыла огромная темная рагулина диких гусей, – я сразу распознал их отрывистый тревожный крик. Над селом вожак заметно начал набирать высоту, и стая разорвалась, потом смешалась, но направления полета не потеряла. Дудкин смотрел на гусей из-под козырька ладони, он порывисто оправил портупею и сказал мне весело, без передышки:

– Знаешь что, Письменов? Валяй-ка ты домой! А я отправлюсь в Лугань. Волкомпарт меня вызывает, понял?

Мы опять отсалютовали друг другу, и Дудкин, неумно радуясь чему-то, сбежал с крыльца. На выгоне, в полверсте от школы, он долго стоял, уткнувшись лицом в ладони, – наверно, ветер гасил и гасил спички...

Дома, еще во дворе, я услышал озлелый тонкий голос дяди Ивана, долетавший из хаты, – Царь у нас всегда начинал шалопутить с весны. Я поднял в сенцах круглое полено и вбежал в хату. Тетка сидела на лавке, полуприкрыв лицо фартуком, – это у ней такая привычка, если хотелось спрятать смех. На столе и на подоконниках лежали как попало ковриги хлеба, горшки, чугуники и сковородки. Неумытый, весь какой-то раздерганный и чудной, дядя Иван стоял посередине хаты с пилой в руках. Я встал между ним и теткой, но она потянула меня за подол рубахи к себе, забрала полено и сказала мне в макушку:

– Петрович делиться задумал, Сань. Да вот не знает, как быть... Лавка-то одна, а нас трое. Пилить собрался...

– Слезь, говорю, с лавки, змея! – крикнул дядя Иван и стукнул пилой об пол. Пила изогнулась и по-балалаечному заиграла, покрыв голос Царя, и я захохотал первый, а тетка за мной. Дядя Иван бросил пилу, схватил чугунок и швырнул им в окно, что гляделось на Момичев двор. На звон оконных склянок и хрясь рамы тетка даже не обернулась.

– А в то, последнее, попробуй головой. Может, бог даст, не застрянешь, – чуть слышно сказала она Царю, а меня обняла за шею, и я ощутил мелкую дрожь ее похолодевших рук.

– Давай делить хату! – одурело взвизгнул дядя Иван. – А то я подпалю ее к чертовой матери!

– Что ж, давай делить, – с недоброй решимостью сказала тетка. – Давай позорься... Сань, сбегай за палкой, ведаться будем.

Я срезал в лозняке длинную хворостину и по дороге раза три поведалься на ней сам с собой: верх приходился той руке, которая первой начинала перехват. Я отдал хворостину тетке, и дядя Иван подозрительно спросил меня, к кому я хочу отойти – к нему или к «подколоднице»?

– К подколоднице, – не раздумывая, сказал я. Тетка засмеялась и пошла к Царю, стоймя держа хворостину. Царь уцепился за нее своей рукой выше теткойной, и они стали быстро перехватывать лозину до тех пор, пока конец ее не очутился в теткинском кулаке.

– Ага, змеи! – злорадно сказал Царь. – Чулан мой! Теперь к печке не подходите!

Я взглянул на тетку. Она ободряюще подмигнула мне, но ничего не сказала. Горшки и чугуники разделили на две части, а хлеб по едокам, – нам с теткой пришлось три ковриги, а

Царю полторы. Лавка целиком досталась нам, а стол дядя Иван утащил в чулан, и в хате сразу стало непривычно пусто и отчего-то невесело. У нас было всего-навсего пять куриц и один петух. Тетка предложила Царю на выбор любых трех, чтобы наши две остались при петухе. Уже к вечеру мы поделили в погребе картошку, – по семи ведер на каждого.

В ту же ночь мы с теткой переместили свои постели в сенцы.

– Как же мы теперь будем жить, Сань? Ума не приложу... – сказала в темноте тетка, и по ее голосу я не мог догадаться, смеется она или плачет...

Утром мы собрались варить себе кулеш прямо на дворе: из четырех кирпичей я сложил возле крыльца печурку, но щель топки была узка, – хворост в ней тлел, а не загорался. Тетка постояла-постояла над чадившим очагом и пошла в сенцы, а меня в это время окликнул со своего двора Момич. Он держал в руках пахотный хомут с новыми пеньковыми постромками и смотрел не на наш двор, а куда-то в сторону. Я подбежал к плетню. Не обернув ко мне лицо, Момич в досаде спросил:

– Чего это вы там таганите, как цыгане?

Я сказал, что мы поделились и чулан с печкой достались Царю. Момич как-то раскосо воззрился на меня, потом взглянул зачем-то на трубу своей хаты и, рывком вскинув на плечо хомут, пошел прочь. Наверно, ему чулся мой неотрывный взгляд в спину, потому что шагов через пять он приостановился и проговорил, не оказывая лицо из-за хомута:

– Скажи там... Егоровне, чтоб на огород шла. И сам приходи.

Я выманил тетку на крыльцо и сообщил ей наказ Момича.

Трудно сказать, чем обернулся бы для меня тот день, если б накануне Царь не вздумал делиться: тогда Момичу не пришлось бы таскать глину из яра к нам в сенцы, чтобы сложить печку-временку, а мне за него оборонять огород, – в прошлом году там росла картошка, и перед пахотой нужно было сравнять борозды. Момич посадил меня на спину жеребца и два круга провел его под уздцы, а на третьем отступил в сторону и приказал не то ему, не то мне:

– Чтоб без огрехов. А то сызнава придется...

Он пообещал, что «будет так-сяк приглядывать», и ушел. Я совсем не правил, – жеребец ходил по кругу сам, не сбиваясь с кромки следа, оставленного бороной, а я как бы парил над ним, боясь чем-нибудь выдать себя, – мне не верилось, что жеребец знает про то, что я сижу на нем. Напряжение, сообщавшее невесомость моему телу, было попеременным: оно нарастало, когда жеребец двигался в сторону выгона, и опадало в тот момент, когда он заворачивал обратно и я видел впереди свой сарай, Момичеву клуню, Камышинку. Тогда я заметно для себя тяжелел, оторопь сменялась волной восхищения, благодарности и любви к жеребцу, к его косматой буйной гриве, к небу и жаворонкам надо мной. На таком разе – завершался седьмой круг – я не заметил, откуда появился черный, как грач, жеребенок-сосун. Он подскочил к жеребцу сбоку, растопырил толстые неокрепшие ноги и заржал, вылупив радостно-шалые глаза. Жеребец остановился, вскинул голову и перестал дышать. Уши у него встали торчком и почти сошлись концами, и в их косой просвет я увидел Момича. Он спешил ко мне от своего палисадника и куда-то показывал вскинутой рукой. Сосун в это время заржал снова, а жеребец коротко взвизгнул на него, ударил в землю передним копытом и вдруг одним рывком переместился в сторону выгона. Я уже падал, но все же успел увидеть на выгоне кудлатую пегую кобылу и услышать ее рассыпчато-призывное ржанье, сразу же пресеченное трубным гогом жеребца. Он миновал борону и даже не заступил постромки, – это я тоже заметил, когда перекашивался под бороной, а потом волочился за ней, нанизанный подолом рубахи на последний рядок деревянных клецов. Я проехал так до оконечности огорода, и все время сосун бежал и подбрыкивал рядом со мной. Через гребень выгонской канавы жеребец перемахнул прыжком. Там я и остался вместе с оторвавшейся бороной и сидя, не пытаясь отцепить рубаху, видел то смирно стоявшую пегую кобылу и подлезшего под нее сосуна, то уносившегося мимо них по выгону жеребца: литой акациевый валеk на толстых новых постромках колотил его по ногам.

Далеко, у трех ветряков, что стояли за пряслом выгона, жеребец взметнулся в высоту и вбок и пропал, будто провалился куда-то. Тогда сразу же стихли строенные, сухо-гулкие удары копыт, и я с надеждой на все благополучное оглянулся в сторону Момича. Он шел пригнувшись, почти волоча по земле руки, и в черной кайме бороды лицо его белело как мел. Он подвигался ко мне медленно и развалисто, и глаза у него были полузажмурены. Я поддел ногами край бороны, отцепил подол рубахи и ползком перелез через канаву на выгон. Момич перебрался через нее так же, и после этого я уже не оглядывался на него. Я бежал к ветрякам, а Момич сугонил позади и изредка выкрикивал натужно и хрипло, как в тот раз, когда просил меня подсунуть кол под комель дуба:

– Александр! Погоди! Погоди, говорю!..

У меня вихлялись колени и все холодел и опускался книзу живот. Я ничком лег на дорогу и зажмурился, – меня никогда и никто еще не бил. Момич подоспел и до самой шеи оголил на моей спине рубаху. Я мгновенно почувствовал неудержимое расслабление тела, и ощущение мокрого тепла в ногах было отрадным и как бы избавляющим от всего, что мне грозило. Момич опустил подол моей рубахи и спросил:

– А ноги как?

Я сел, накрепко сдвинув колени, и солгал:

– Болят.

– Мы ж с тобой коня сгубили! – с осиплым стоном сказал Момич, обессиленно садясь рядом. Он невидяще глядел на меня и плакал, некрасиво распахив рот, и борода у него елозила из стороны в сторону. Я вскочил и побежал к ветрякам...

Маленькие и круглые, как коврига, озерки назывались у нас околками, и жеребец утоп там, – я издали увидел торчащие из воды косицы его ушей и раздвоенный бугор крупа...

Потом мне никогда уже не приводилось наяву оказываться за гранью реального мира, которую я переступил тогда: околос, ветряки, недалекая Камышинка, выгон и бегущий Момич – все окрасилось в сумеречно-красный цвет и поплыло вокруг меня, не отдаваясь и не смешиваясь, и я сел, вцепился в землю и закричал, и подбежавший Момич тоже закричал что-то и с ходу прыгнул в околос. Разом с ним я полетел в истомно душную красную высоту, а когда открыл глаза, то увидел несокрушимо замершие на месте серые ветряки, зеленый выгон, синее небо и мутный околос. Момич стоял там по самую бороду в воде и руками поддерживал над собой голову жеребца. Жеребец дышал, как боров в жару, – с отрывистым хрюканьем, и вдруг надулсЯ и всхрапнул, обдав Момича струями грязной воды, хлынувшей из ноздрей. Момич тряхнул головой и всхрапнул сам протяжно и дико, похоже на жеребца, – подбивал его, чтобы он еще раз всхрапнул, и жеребец всхрапнул вторично, и Момич тоже... Неизвестно, зачем я полез тогда в околос. Момич с какой-то ярой радостью в глазах увидел меня и заорал:

– Александр, мать твою... Беги, кличь людей! Чтобы с веревками и слегами! Скорей!..

На улице Камышинки я увидел бабу с коромыслами и несмело сказал ей, что в околке возле ветряков кто-то залился с лошадей...

Часом позже, когда Момич уводил по выгону грязного, приседающего на задние ноги жеребца, у меня разом начало болеть все тело. Всю ночь я куда-то падал и кричал, а утром тетка растопила свою венчальную свечку, поставила теплый каганец с воском мне на живот и стала чертить надо мной указательным пальцем широкие спиральные круги. Я спросил, про что она шепчет. Тетка мотнула головой, чтобы я не перебивал, и зашептала явственней: «...и тогда пошла мать божья в степь-пустыню, а навстречу ей едет Иисус Христос на ослиати. «Сын божий, куда ты едешь?» – «Еду я к малолетнему рабу своему Лександру кости выправлять, жилы напрягать, испуг изгонять».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.